



РЕЖИССЕР
ОСКАРАС КОРШУНОВАС

«НРАВСТВЕННОСТЬ — ЭТО ТОЖЕ ТЕРРОРИЗМ»

Известия — 2004 — 5 авг. — с. 7

Место безусловного гения уже, видимо, навсегда зарезервировано в литовском театре за Эймунтасом Някрошюсом. Место молодого гения — за Оскарасом Коршуновасом. Представители престижных театральных форумов расхвывают его спектакли как горячие пирожки, и он так и живет — в вечном движении, на перекладных, из страны в страну. В этом году он поставил в Авиньоне с французскими артистами пьесу литовца Гинтараса Гаяускаса «Резервация». С ОСКАРАСОМ КОРШУНОВАСОМ встретились обозреватель «Известий» МАРИНА ДАВЫДОВА.

КОГДА ЖИВЕШЬ В ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ, КАК ЛИТВА, НЕИЗБЕЖНО ВОЗНИКАЕТ КУЛЬТУРНАЯ КЛАУСТРОФОБИЯ

— Сейчас много говорят о кризисе фестивальной жизни. О том, что огромное количество фестивалей нивелируют особенности театрального языка в разных странах. Ты согласен с этим?

— Согласен, пожалуй. А что в этом плохого? Я лично ничего плохого не вижу. Даже наоборот. Мой спектакль «Ромео и Джульетта», поставленный специально для Авиньона-2003 (когда его в результате отменили, для меня это, если честно, был сильный удар), так вот спектакль мой как раз об этом. О том, что мы не настолько разные, чтобы не понять один другого, не любить один другого. Я вообще верю в тотальную коммуникативность. В хорошем спектакле всегда есть что-то, что пробьет зрителя поверх языка и всяких контекстуальных барьеров. А потом без фестивалей меня вообще, боюсь, не было бы. Когда живешь в такой маленькой стране, как Литва, у тебя неизбежно возникает культурная клаустрофобия. И комплексы всякие. Я «Роберто Зукко» сделал в 1996 году. Сейчас приехал на гастроли в США, мне говорят: «О, это новый театр!» Я же давно его сделал, но сделал в Литве. Никогда ничего не будет значимо, если это произошло в Литве. А в театре ведь как — если тебя вовремя не заметили, значит, тебя вроде и не существует. Потому что твои театральные достижения не оценят.

— Подожди. Как же так? А Някрошюса разве не заметили? А тебя самого?

— То, что мы делаем, может быть востребовано, но это никогда не станет поветрием, модой. Вот то, что делает Томас Остермайер, станет. Потому что он немец. В большой стране художнику проще. Так что для меня, как для человека, живущего в Литве, как раз важно, чтобы общее культурное пространство возникло. Другой вопрос, что фестивали действительно порождают фестивальные феномены, которые нужны только фестивалям. Тут иногда такое увидишь, что в страшном сне не приснится. Но разве театральная жизнь вне фестивалей не порождает своих монстров и своих штампов?

— А что бы ты назвал фестивальным штампом?

— Сложный вопрос. Сейчас попытаюсь (очень долгая пауза). Театр это такое место... То есть так — театр это искусство отношений со временем. И всякое новое представление о времени, любая новая его репрезентация на фестивалях очень быстро схватывается и очень быстро тиражируется. Не

знаю, плохо это или хорошо, но это так. Иногда действительно что-то механическое в этом появляется. Но с другой стороны, фестивали для того и возникли, чтобы ощутить пульс времени и найти то, что проявляет его. И это и отличает их от репертуарных театров, которые держат за шиворот вчерашний день.

РАЗВЕ АМЕРИКАНЦЫ ИСТРЕБИЛИ ИНДЕЙЦЕВ? ИХ ЕВРОПЕЙЦЫ ИСТРЕБИЛИ. ПРИЕХАЛИ АЛКОГОЛИКИ ИЗ ЕВРОПЫ И ИСТРЕБИЛИ

— Ты мог бы сказать о себе, что ты дитя Авиньонского фестиваля?

— Мог бы, наверное. Мы ведь с 96-го года практически каждый год здесь выступаем. Но первым большим фестивалем, на который мы поехали со спектаклем по Хармсу «Там быть тут», был все же Эдинбург. Это случилось в 90-м году, только-только границы открылись, и это были первые гастроли нашего театра. Мы выпустили спектакль 22 марта 1990 года, а 11 марта Литва стала независимой. То есть этот спектакль репетировался в Советском Союзе, а вышел уже в независимой стране. Есть в этом что-то символическое.

— Вы были участниками офф-программы?

— Да. Но в Эдинбурге офф-программа (Fringe так называемый) совсем не то же самое, что в Авиньоне. Это гораздо более значимая вещь. И это большая лотерея. Если повезет, из тебя там могут сделать фестивальную звезду. Такие художники, как Тадеуш Кантор, например, оказались впервые здесь именно в рамках офф-программы. А Авиньон — это уже следующая ступень. Авиньон не просто открывает художников, он их еще и создает. Он вообще обозначил очень важный рубеж в истории фестивалей, когда они стали не просто местом, в которое съезжаются спектакли из разных других мест, но еще и мегапродюсерами. Когда в Авиньоне возникла программа «Теорема», тогдашний директор фестиваля Бернар Февр-Д'Орсье спросил меня: «Что ты хочешь сделать?» Я даже не понял сначала. «В каком смысле — что?» — говорю. «Ну, у тебя есть мечта?» — «Есть». — «Какая?» — «Поставить «Мастера и Маргариту». — «Так давай, ставь. Какие проблемы». Культурная политика Европы вообще строится на доверии к художнику. А вот в Америке такого нет. Там — вечером стулья, утром деньги; утром деньги, вечером стулья.

— Как истинный европеец, ты уже начал ругать Америку.

— Да нет. Я все про Европу понимаю. Европа — страшная территория. Столько войн. Мы сейчас пьесу о индейцах ставим. Я вот и думаю — разве американцы истребили индейцев? Их европейцы истребили. Приехали алкоголики из Европы и истребили.

— Эти алкоголики все-таки сделали очень неплохую страну. Ее все ругают сейчас, а ведь это очень нравственная страна. И то, что самая сильная страна оказалась нравственной, — это же слава Богу.

— Да, конечно. Правда, нравственность — это тоже некий терроризм. Я с этим сам

столкнулся, когда летел в Америку. Сел в самолет немного пьяный по русскому обычаю, который очень жив в Литве. И что же — высадили меня из самолета. Да, кстати, надо бы мне... А то я что-то плохо формулирую. Подожди (достает из рюкзака плоскую бутылку с прозрачной жидкостью). Будешь?

— Это что, русская водка?

— Нет, польская. Во Франции продают польскую водку. Я думаю, потому что поляки были за Наполеона. И литовцы тоже, кстати. А русские как-то не очень (делает глоток из горлышка).

НЕ РУССКИЙ, НЕ ЛИТОВЕЦ, НЕ ПРОТЕСТАНТ, НЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ, НЕ КАТОЛИК. ДАЖЕ НЕ ЕВРЕЙ

— Я знаю, что тебя приглашают на постановку в Россию. Ты ощущаешь русское театральное пространство как свое.

— Конечно. Я вообще наполовину русский. Я родился в Вильнюсе. Говорил на двух языках и всегда чувствовал свою двойственность. Всегда ощущал себя между отцом и матерью, между двумя языками, между разными религиями. Литовцы католики, а моя мать литовка, но не католичка. Вот я и получился — не русский, не литовец, не протестант, не православный, не католик. Даже не еврей. Что делать? Театр — единственное место, где все это возможно изжить.

— Что ты будешь у нас ставить?

— «Смерть Тарелкина» в театре Et Cetera с Калягиным в роли Тарелкина. Он сам меня пригласил. А для меня Калягин, как для советского парня, выросшего в девятиэтажке и смотревшего по телевизору, сама понимаешь, какие фильмы, это до сих пор миф. И мне лестно, что он приехал к нам специально смотреть мои спектакли. Был заинтересован. Как он говорит — влюблен в то, что мы делаем.

— Ты много ездешь. Ты обратил внимание, что сейчас мало русского театра на фестивалях? Ты со стороны можешь это как-то объяснить?

— Я думаю, русский театр сейчас очень консервативный. Для меня это странно как-то. Ведь Мейерхольд, Хармс, Введенский, обериуты — все это в русской культуре появилось. Но вообще, я думаю, консервативность — это тоже своего рода нравственность.

— А консервативный это разве всегда плохой?

— Не совсем так. Театр консервативное место по своей природе. В театр приходят услышать то, что хотят услышать, увидеть то, что хотят увидеть, узнать то, что уже знают. Публика никогда не собирается для встречи с неожиданным. И все интересное в театре случается тогда, когда он опровергает ожидания или, наоборот, дает больше, чем зритель ожидал. На это очень непросто решиться. Особенно артисту. Ведь артисту очень хочется нравиться. Более того, он смертельно боится не понравиться, а значит, боится рисковать. И вот когда артист решается сделать что-то неожиданное, а зритель вдруг соглашается с тем, чего он не ожидал (или даже так — о чем он думал про себя, но о чем он не говорил), когда происходит это взаимное преодоление, тогда и начинается настоящий театр. Во всяком случае, для меня.